

Кафе Кафки

Ещё не опытен в разногласиях и противоречиях. Ещё сильна надежда, что что-то понимаю в жизни и соблазну женщину. Ещё... Рисунок дальнейшего непредсказуемо неведом. Оказывается, Прага — это Кафка. Прежде всего. Франц здесь за своего главного — без предубеждений. Им честно гордятся. Складывается впечатление: посильнее, чем советскопризнанным Швейко-Гаше-

ком. Да, всё ещё Чехословакия. Хотя уже государственно правит не худший мастер драматической интриги Гавел, и скоро два несовместимых племени — чехи и словаки — разделятся: последний распад в европейской Империи. Прага — уже Чехия. Видимо, близко к Пасхе. Обилие на уличных базарчиках разноокрашенных яиц. На переходе от зимы к весне. Прага мрачновата. Холодна. Свежа. Пронзительна.

Я непростительно оплошаю. Раз за разом. Не расщедрюсь на модный бушлат и элегантно не вручу чаевые кроны в прославленной пражской пивной. В ресторанчике, где любил сживать давешний здешний обыватель Кафка. Мы приходим сюда раз за разом и за жирной пищей. Что влечёт? Магия имени? Диссидентство? Всё-таки, это не тривиальные ресторанчики «под Швейка». Другая Чехия. Падчерница Европы, ищущая спасения в своих сумеречных гениях. Сытый, довольный идиот Швейк — скорее, на экспорт. Пусть думают. Чех сумрачен, опустошён, пустоват, наполнен смыслами тоски и грусти, а всё несбывшееся заполняет густым, тёмным, тяжёлым пивом. А на самом деле? И, кстати, откуда — Чехов. Чехов мы не знаем. Кафка ли?.. Гашек...

Что было в Праге?

Страх.

Что произошло в Праге?

Крах.

Это же классическая фраза финала (фф):

— Мы не умеем любить долго и страстно.

До тебя не дошло — даже после последующего бегства в аэропорту: это финал.

Сколько тысяч дней и сколько столетий тебе требуется, чтобы дошло? Дистанция понимания — с гигантской отсрочкой. Надо перешагнуть миллиум, чтобы догадаться. Только для этого и требуется перепрыгнуть в... перескочить — достичь миллиума, чтобы дошло.

Какое заглавное блюдо в кафе у Кафки? Неужели традиционно-жир-

ное чешское? Тощий Кафка как-то не срастается. Или все духовные дистрофики любят, чавкая, с неопрятным жиром на жидкой бороде — жадно пожрать?

Чем ты так напугана? Изысканный излом. Деловитая бледность.

Это как же так оконфузиться! Тупица. Полная тупизна. Беспросветная. Какая там тонко чувствующая и нервно организованная натура! Не почувствовать простого. Артиллерист недоделанный — загнал снаряды в пушку. Туго. Лермонтовед...

Но и она тоже хороша! Могла бы предупредить. Торопливость страсти... Процесс.

Прага — сумма страхов.

Простой комочек туго свёрнутого хлопка. Нечаянно сохранённый свидетель давнего промаха. Жёлтый потёк страсти, пронесённый через времена. Высохшая ткань обжигает, как первое нецеломудренное прикосновение. Смысл фетиша (наконец-то — до тебя дойдёт) — не сам комочек, а яркая вспышка мускульной памяти, воскрешающей всё — вкус, цвет, аромат. Тайное присутствие женщины. Запах стыда. Какой-то жгучий стыд и непереносимо-бешеное желание. Внезапный стыд, целомудренная неловкость, застигающая врасплох. Ненайденное жильё землячки Марины в пролетарском районе. Убогий номер захолустной гостиницы на окраине кафканианской Праги. Вот оно, подлинное кафканианство.

Замыкание. Затмение.

Всё сразу. Превращение.

Взрыв фантазии. Господи, да это
ж ещё XX век!

Образ страсти. Но убит быт любви...

Полное отсутствие логики. И кому
рассказать, как нас пражские звёзды
венчали? Правда Кафки — бессмыс-
ленная правда.

Этот комочек спрессует всё: дол-
говременный страх, непреходящая
боязнь, пробуждающийся стыд, не-
возможность исповеди, гасю бреда.

Непрекращающаяся тоска.

Всё уместно: голо, постыло, не-
ловко. Где красота страсти? Она про-
ходит с чудосочным завтраком и не-
убиваемой боязнью быть нечаянно
узнанной. Кем?

Мир — соглядатай.

Единственная красота — неиз-
вестность.

Сфокусировать: мир, планета,
город (Прага?), стандартный дом, за-
навешенное окно, безликая комна-
та, ошарашенные и голые.

Это то, к чему надо стремиться?

— Мне же было больно. Ты ничего
не видишь.

Начало бегства.

Обольщение быстро заканчива-
ется, превращаясь в серый пражский
рассвет, так похожий на скучный
портрет позднего Кафки.

Здесь всё пропитано постарев-
шим Кафкой. Мостовые, стены до-
мов, допотопные трамваи, мемори-
альный пленённый танк и даже воды
Влтавы со свинцовым отливом.

Или это мы читаем текст Праги,
записанный слабой рукой трусливо-
го онаниста?

Карлштейн, Влтава, замки. Замок.

Кафка всё победит. Сырая испор-
ченная печень цвета предстоящей
смерти.

И только бежать некуда. И не от кого.

Раздражало всё. Моя постоянная
неловкость. Неэлегантность. Бушлат.
Украшение. Укрощение. Хлопковый
баллон как снаряд в старинной русской
пушке. Оказывается, забыл я туго.

Это конец моего парада. Прага. Я
сдался. В бессрочный непочётный плен.

Всё было взято в свои руки. Как
бы нехотя. Не желая.

Тайное тайных.

Кафе Кафки.

Пражское счастье.

Прощай, Хемингуэй

Молодость: Этого не может
быть!

Старость: Всё возможно...

Я задним числом это всё выду-
мываю, или у Хемингуэя действи-
тельно есть такая фотография? Он —
молодой, в очках, с усами, высокий
лоб с залысинами (он не похож на
себя старого и хрестоматийного):
репортёр, охотник и интеллектуал,
сидит в мадридском кафе “Grand
Café Yijone”, курит трубку и работа-
ет? Возможно: у него на кафешном
столике — пишущая машинка. Мо-
жет, ещё не началась гражданская
война, он пишет спокойный испан-
ский репортаж, скорее, с последней
корриды.

Есть такой снимок?

Или...

Бабье лето в Мадриде. Уличные мусорщики в костюмах космонастов гоняют листопад по бульварной аллее. Prado. “Grand Café Yijone”.

Я захожу на бульваре Прадо в «Гранд кафе», усаживаюсь, делаю заказ не очень расторопному старому официанту и...

Вижу перед собой, невдалеке, через два столика, молодого неканонического Хемингуэя.

Он курит трубку и работает.

У него не пишущая машинка, а какое-то современное печатающее приспособление: мне не особо видна его столешница. Он чертовски интеллектуален, красив, красиво курит трубку, красиво — небрежно-интеллигентно — работает. На нём пуловер конца двадцатых (или — начала тридцатых?) и мягкая рубашка любимого бежевого оттенка. «Хемингуэй» сидит так, что, склоняясь и работая, всё равно лицом повёрнут ко мне. Но он ни на кого не смотрит и никого не видит. Он занят собой и своим делом. Углублён. Так могли углубляться в свою работу только классики изящной словесности первой трети XX века.

Моя любознательная спутница хочет сфотографировать симпатичную личность. У неё не получается. Рядом с предыдущими совершенно чёткими фотографиями, фото с ним размыто, нечётко: то его вообще нет в кадре, то он совершенно чёрен, сливается с темнотой. В кафе светло: разгар октябрьского дня.

Стопроцентно похож на себя на той старой молодой фотографии. Я не могу ошибиться.

Это он.

Я что? — верю в реинкарнацию и возвращение?

Но тогда почему он тут?

Может, только одна деталь подтверждает странность: таких пуловеров сегодня не носят даже старинные благородные мадридцы.

Может, подойти?

Но...

Я же не знаю языков, на которых говорит он.

Моя спутница с фотоаппаратом чертыхается: на очередной вспышке он снова не получился — подозрительная, предельная нечёткость изображения.

Он, не этот — тот, канонический Хэм бывал ли когда-то именно в этом кафе? “Grand Café Yijone”. Кафе давнее, старинное.

Наверняка.

Я могу согласиться, что это он?

И — самое поразительное: ловлю себя на мысли: это он и может быть. Это он сам, и живой.

Тот самый.

Я могу поверить.

Почему нет?

Видение святого Эрнеста.

В этом мире может случиться всё. Всё возможно.

Мы с Хемингуэем сидели в одном кафе, и нам приносил кофе один и тот же — не очень расторопный старый официант.

В конце концов, Мадрид для меня открывал не Проспер Мериме, а старина Хэм.

Посетитель с залысынами встал, неторопливо собрал свои пишущие принадлежности со стола, засунул в кейс. Перед этим он расплатился.

Высокий.

Я знал, что папаша Эрнест коренастый, но не думал, что столь солидно высокий. Даже молодой.

Он вышел неуловимо. Я отвлекся и не увидел, как он вышел и уходил.

Прощай, Хемингуэй.

Бунт женщины

рассказ для себя

Мой элегантный поводирь, восхитительно юная (припоминаю: сорокадевятiletняя) спутница заметила:

— Как старо она выглядела в свои 49!

Марина повесилась в 49.

Действительно. Она состарилась. Да, она рано состарилась. На каком костре она сожгла свою красоту и молодость? Где сгорела, чем себя испепелила?

Она спалилась изнутри, Марина горела изнутри. Некого винить. Зачем искать виноватого?

К какой из двух женщин (с ужасом я должен задать себе вопрос) я ехал — к мёртвой или к живой? Чем мёртвая, рано состарившаяся женщина привязала меня к себе? Юношеское возбуждение от ярости её поэтических строк?

Неужели так сильно?

И вот уже ВСЮ жизнь и длится, и всё ещё влияет на житейское поведение.

Я спешу сюда,

к её последнему пристанищу

как на свидание,

и жизнь без этого свидания — не состоялась...

Предмета любви, замечаю я само собой разумеющееся, — не надо во все. Не обязательно.

Может — быть. Марина.

Имя.

Образ.

Имя любви. Образ любви. Этого достаточно.

К сему времени зерно твоей любви выспело.

Август. Скоро осень. Всё поспевет. У тебя поспело — к этому августу.

У тебя был другой повод и стимул — живая любовь. А победила любовь к мёртвой.

Причины её погибели точно не ясны. Придумывают разное. Но, кажется, они точно не сошлись — спокойный, чинный, жизненный дух Елабуги и беспокойный, больной, мятущийся дух Марины. Неврастения экстаза. Экстатическая натура не совпала с ровным размеренным (даже в сорок первом!) ходом жизни.

Меня обвинят в мании величия. Это меня-то — застенчивого и не ценящего себя?

Давеча академик Мельников говорил о бессмертии учёного: если того после смерти ещё лет пять цитируют, он явно открыл нечто стоящее. Я-то твёрдо знаю и уверовал: забудут на пятой минуте. Хорошо, на седьмой...

Но, видимо, они где-то рядом — мания и твёрдое понимание себя.

Живёшь в плену навязанного. Навязанных представлений. Ничего собственного. Верующий. — Материалист. Когда же начинаешь что-то понимать?

Старлся. Но не успел.

Осенней женщины печаль... Почему мне кажется, что так же выглядит усталая печаль успокоившейся женщины, едущей рядом со мной? Её социальное бешенство, раненая несправедливость ушло внутрь. В чрево. Чрево бунтует. Ненасытно, неумеренно. Покорность всегда скрывает в себе бунт. Неистовое желание оргазма — последний бунт женщины.

Елабуга — спокойная, искони довольная собой, раскрасневшаяся, как удовлетворённая женщина после бурного экстаза, но с заметным румянцем стыда за своё собственное безумство удовольствия.

Она слишком хорошо знала это. Надеюсь, Елабуга разделит с ней покой своего счастья. Недолго надеялась. Не получилось. Не срослось.

Мы как бы заключили молчаливый контракт. Суровый обет. Не здесь. Здесь — нет. Ультиматум: меня не трогать. Условие визита. Договор. Конвенция.

Здесь — никогда.

Это моя территория. Нынешняя.

Вся в твоём распоряжении.

Кроме...

Не трогать.

Только не здесь.

Дистанция вытянутой руки.

Ты — чужой.

Первая дистанция отчуждения.

Соблюдается строго. Ни одного ласкового взгляда.

Родная земля стесняет.

Стесняемся родной земли.

Какой вид над Камой!

Надо признаться, но не хочется.

Почему не хочется? Конечно, не заблуждение, но вот же, явно...

Почему мне стыдно признаться? Да, да, я вбил в себе в голову, честно считал и считаю, что лучший вид на планете — это высокий берег Иртыша у Абалака, где рядом грузный величественный монастырь, а там, за изгибом реки, место бывшего Искера.

Захватывающее пространство.

В этом месте ты, земная крохотуля, — властелин пространства. Оно расстилается перед тобой, слой за слоем, даль за далью — за слоем слой, за далью даль. Пространство прозревается насквозь. Ты, горсть праха, здесь — исполин. Оно твоё, исполинское, нескончаемое пространство, изогнутое и вогнутое поворотами рек, глубоко прорезая земную твердь, округлое и рваное, не имеющее края и заканчивающееся за твоей спиной.

Такой вид может быть на планету — один. Иртыш. Абалак.

А здесь вид над Камой — рядовой. А куда величественнее. Здесь ты возносишься, попирая твердь и управляя панорамой. Но это не может, не должно быть. Есть же Абалак. Только один Абалак.

Душа не смирится и согласиться не может.

Каама Абалак.

И, слушай, ведь и для тебя этот обет — нечто непреодолимо-важное, непонятая и неосмысленная ступень посвящения, но и условия конвенции сомнению не подлежат.

Стыд пространства.

Мотив.

Воздержание нам удаётся всё лучше и лучше. Достаточно бесстыжих фантазий.

Ловкий литературный дрочило приписывает Марине собственную смерть-мечь, мечь себе за безудержные и слишком грешные фантазии (Принцесса инцеста. «Принцеста»). Нафантазировала погибель. Изощёрнённый критик честно ненавидит природу безудержного русского таланта.

Пузо земного шара. Излишне откровенно. Жерло и кратер.

Боже мой, нет спасения — всё единоутробно.

Наша планета, Земшар — всегда выглядит беременно. Особенно непристойно на рельефном глобусе выглядят кратеры.

Беременная земля предельно беззащитна и подвержена насилию.

Уязвима.

почему — шар? Земной.

Брюхо. Земное.

Чем беременна земля?

Как-то, Марина, у нас с тобою встретиться получалось плохо. И в Праге. Я только там понял, что настоящая русская аристократка ютилась в беспросветно-пролетарском районе. Оказалось, что в блестящей столице чехов (чехов!), есть такие убогие кварталы — трущобы.

И с Тарусой.

Но это ж не случайно мелкий дрочила (знаток инцеста) сочинил свой изуверский труд. Марина охаяна. Мало ей — потусторонней и с другой планеты — трудностей своего бытия. Посмертно, захлёбываясь в

собственной сперме, оплёвывают и обижают.

Ей бы родиться королевой. А она уродилась поэтессой. (Кстати, «поэтесса» звучит куда вкуснее, нежели «женщина — поэт»). Королевская жизнь не удалась.

Поэтому — удавилась.

Попросту. По-бабьи.

Марина погибла в 49.

Странные сближения: моей водительнице сегодня тоже 49.

Это я не обратил внимания, а она просекла сразу:

— Как старо выглядит в свои-то 49. Просто старуха.

Действительно, накануне самоубийства в Елабуге Марина молодостью не страдала. Да и всегда выглядела ужасно пожившей.

Мне его жаль, этот скромный, порядочный город, родину корабельных сосен и невероятной портомойни.

Она же его убила, пригвоздила — крючком для верёвки: Елабуга-убийца!

Занесла во все литературные святцы. Сегодня звучит зловеще: Елабуга.

Если даже не убила...

Не спасла, Елабуга. Не спасла.

Как будто город провинился.

У неё всё некстати и невпопад. Отомстила, но не тому.

Городок. Хочется пожалеть, но он уже навечно не отмоется. А люди добрые, и добрый городок.

не повесилась,

но —

удавилась.